

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ. Под знаком непредсказуемости

Пролог. О птичьем оперении.....	13
Часть I. Антибиблиотека Умберто Эко, или О поиске подтверждений	32
Глава 1. Годы учения эмпирика-скептика	35
Глава 2. Черный лебедь Евгении	63
Глава 3. Спекулянт и проститутка	67
Глава 4. Тысяча и один день, или Как не быть лохом	85
Глава 5. Доказательство-шмоказательство!	104
Глава 6. Искажение нарратива	121
Глава 7. Жизнь на пороге надежды	157
Глава 8. Любимец удачи Джакомо Казанова: проблема скрытых свидетельств	178
Глава 9. Игровая ошибка, или Неопределенность “ботаника”	211
Часть II. Нам не дано предвидеть	229
Глава 10. Предсказательный парадокс	232
Глава 11. Открытие на основе птичьего помета	275
Глава 12. Эпистемократия, мечта	314
Глава 13. Живописец Апеллес, или Как жить в условиях непредсказуемости.....	330
Часть III. Серые лебеди Крайнестана	347
Глава 14. Из Среднестана в Крайнестан и обратно	349
Глава 15. Кривая нормального распределения, великий интеллектуальный обман	370

Глава 16. Эстетика случайности	406
Глава 17. Безумцы Локка, или “Гауссовы кривые” не к месту	436
Глава 18. Неопределенность “липы”	453
Часть IV, заключительная	463
Глава 19. Серединка на половинку, или Как свести концы с концами при Черном лебеде	463
Эпилог. Белые лебеди Евгении	468
Словарик	471

О СЕКРЕТАХ УСТОЙЧИВОСТИ С УГЛУБЛЕННЫМ
ФИЛОСОФСКО-ЭМПИРИЧЕСКИМ ОБОСНОВАНИЕМ.

Эссе-постскрипtum

I. Уроки матери-природы — наистарейшей и наимудрейшей	479
II. Зачем мне все эти прогулки, или Как хиреют системы	506
III. Margaritas ante porcos	516
IV. Аспергер и онтологический Черный лебедь	530
V. (Вероятно) самая полезная проблема в истории современной философии	543
VI. Четвертый квадрант, решение самой полезной из проблем	565
VII. Что делать с Четвертым квадрантом	572
VIII. Десять принципов построения общества, способного противостоять Черным лебедам	582
IX. Amor fati: как стать несокрушимым	587

ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ

Философские и житейские афоризмы

Прокруст	593
Пролог	596
Антисюжеты	601
Онтологические материи	607

Духовное и мирское	608
Случай, успех, счастье и стоицизм	611
Проблемы лохов, приятные и не очень	619
Тесей, или Жить палеожизнью	622
Республика словесности	627
Общее и частное	633
Одураченные случайностью	635
Эстетика	638
Этика	640
Устойчивость и неустойчивость	646
Игровая ошибка и зависимость от окружения	649
Эпистемология и разностное знание	652
Скандалность предсказаний	655
Быть философом и ухитриться им оставаться	657
Экономическая жизнь и другие весьма вульгарные предметы	660
Мудрец, Слабак и Титан	665
Скрытое и явное	669
О разновидностях любви и нелюбви	672
<i>Итог</i>	674
<i>Послесловие</i>	675
<i>Библиография</i>	682

Черный лебедь

Под знаком
НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ

Перевод с английского

The Black Swan

The Impact of the Highly Improbable

Посвящается Бенуа Мандельброту, греку среди римлян

Пролог

О птичьем оперении

До открытия Австралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди — белые. Их непоколебимая уверенность вполне подтверждалась опытом. Встреча с первым черным лебедем, должно быть, сильно удивила орнитологов (и вообще всех, кто почему-либо трепетно относится к цвету птичьих перьев), но эта история важна по другой причине. Она показывает, в каких жестких границах наблюдений или опыта происходит наше обучение и как относительно наши познания. Одно-единственное наблюдение может перечеркнуть аксиому, выведенную на протяжении нескольких тысячелетий, когда люди любовались только белыми лебедями. Для ее опровержения хва-

тило одной (причем, говорят, довольно уродливой) черной птицы*.

Я выхожу за пределы этого логико-философского вопроса в область эмпирической реальности, которая интересует меня с детства. То, что мы будем называть Черным лебедем (с большой буквы), — это событие, обладающее следующими тремя характеристиками.

Во-первых, оно *аномально*, потому что ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно обладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся *после* того, как оно случилось, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым.

Остановимся и проанализируем эту триаду: исключительность, сила воздействия и ретроспективная (но не перспективная) предсказуемость**. Эти редкие Черные лебеди объясняют почти все, что происходит на свете, — от успеха идей и религий до динамики исторических событий и деталей нашей личной жизни. С тех пор как мы вышли из плейстоцена — примерно десять тысяч лет назад, — роль Черных лебедей значительно возросла. Особенно интенсивный ее рост пришелся на время промышленной революции, когда мир начал усложняться, а повседневная жизнь — та, о которой мы думаем, говорим, которую стараемся планировать, основываясь на вычитанных из газет новостях, — сошла с наезженной колеи.

* Распространение камер в мобильных телефонах привело к тому, что читатели стали присылать мне изображения черных лебедей в огромных количествах. На прошлое Рождество я также получил ящик вина “Черный лебедь” (так себе), видеозапись (я не смотрю видео) и две книги. Уж лучше картинки. (*Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, — прим. автора.*)

** Ожидаемое отсутствие события — тоже Черный лебедь. Обратите внимание, что по законам симметрии крайне невероятное событие — это эквивалент отсутствия крайне вероятного события.

Подумайте, как мало помогли бы вам ваши знания о мире, если бы перед войной 1914 года вы вдруг захотели представить дальнейший ход истории. (Только не обманывайте себя, вспоминая то, чем набили вам голову занудные школьные учителя.) Например, вы бы могли предвидеть приход Гитлера к власти и мировую войну? А стремительный распад советского блока? А вспышку мусульманского фундаментализма? А распространение интернета? А крах рынка в 1987 году (и уж совсем неожиданное возрождение)? Мода, эпидемии, привычки, идеи, возникновение художественных жанров и школ — все следует “чернолебяжьей” динамике. Буквально все, что имеет хоть какую-то значимость.

Сочетание малой предсказуемости с силой воздействия превращает Черного лебедя в загадку, но наша книга все-таки не об этом. Она главным образом о нашем нежелании признавать, что он существует! Причем я имею в виду не только вас, вашего кузена Джо и меня, а почти всех представителей так называемых общественных наук, которые вот уже больше столетия тешат себя ложной надеждой на то, что их методами можно измерить неопределенность. Применение неконкретных наук к проблемам реального мира дает смехотворный эффект. Мне довелось видеть, как это происходит в области экономики и финансов. Спросите своего “портфельного управляющего”, как он просчитывает риски. Он почти наверняка назовет вам *критерий, исключающий* вероятность Черного лебедя — то есть такой, который можно использовать для прогноза рисков примерно с тем же успехом, что и астрологию (мы увидим, как интеллектуальное надувательство облачают в математические одежды). И так во всех гуманитарных сферах.

Главное, о чем говорится в этой книге, — это наша слепота по отношению к случайности, особенно крупномасштабной;

почему мы, ученые и неучи, гении и посредственности, считаем гроши, но забываем про миллионы? Почему мы сосредоточиваемся на мелочах, а не на возможных значительных событиях, несмотря на их совершенно очевидное гигантское влияние? И — если вы еще не упустили нить моих рассуждений — почему чтение газеты *уменьшает* наши знания о мире?

Несложно понять, что жизнь определяется кумулятивным эффектом ряда значительных потрясений. Можно проникнуться сознанием роли Черных лебедей, не вставая с кресла (или с барного табурета). Вот вам простое упражнение. Возьмите собственную жизнь. Перечислите значительные события, технологические усовершенствования, происшедшие с момента вашего рождения, и сравните их с тем, какими они виделись в перспективе. Сколькие из них прибыли по расписанию? Взгляните на свою личную жизнь, на выбор профессии или встречи с любимыми, на отъезд из родных мест, на предательства, с которыми пришлось столкнуться, на внезапное обогащение или обнищание. Часто ли эти события происходили по плану?

ЧЕГО ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ

Логика Черного лебедя делает *то, чего вы не знаете*, гораздо более важным, чем то, что вы знаете. Ведь если вдуматься, то многие Черные лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что *их никто не ждал*.

Возьмем теракты 11 сентября 2001 года: если бы такого рода опасность можно было *предвидеть* 10 сентября, ничего бы не произошло. Вокруг башен ВТЦ барражировали бы истребители, в самолетах были бы установлены блокирующие пуленепробиваемые двери и атака бы не состоялась. Точка. Могло бы случиться что-нибудь другое. Что именно? Не знаю.

Не странно ли, что событие случается именно потому, что оно не должно было случиться? Как от такого защищаться? Если вы что-нибудь знаете (например, что Нью-Йорк — привлекательная мишень для террористов) — ваше знание обесценивается, если враг знает, что вы это знаете. Странно, что в подобной стратегической игре то, что вам известно, может не иметь никакого значения.

Это относится к любому занятию. Взять хотя бы “тайный рецепт” феноменального успеха в ресторанном бизнесе. Если бы он был известен и очевиден, кто-нибудь уже бы его изобрел и он превратился бы в нечто тривиальное. Чтобы обскать всех, нужно выдать такую идею, которая вряд ли придет в голову нынешнему поколению рестораторов. Она должна быть абсолютно неожиданной. Чем менее предсказуем успех подобного предприятия, тем меньше у него конкурентов и тем больше вероятная прибыль. То же самое относится к обувному или книжному делу — да, собственно, к любому бизнесу. То же самое относится и к научным теориям — никому не интересно слушать банальности. Успешность человеческих начинаний, как правило, обратно пропорциональна предсказуемости их результата.

Вспомните тихоокеанское цунами 2004 года. Если бы его ждали, оно бы не нанесло такого ущерба. Затронутые им области были бы эвакуированы, была бы задействована система раннего оповещения. Предупрежден — значит вооружен.

ЭКСПЕРТЫ И “ПУСТЫЕ КОСТЮМЫ”

Неспособность предсказывать аномалии ведет к неспособности предсказывать ход истории, если учесть долю аномалий в динамике событий.

Но мы ведем себя так, будто можем предсказывать исторические события, или даже хуже — будто можем менять ход истории. Мы прогнозируем дефициты бюджета и цены на нефть на тридцатилетний срок, не понимая, что не можем знать, какими они будут следующим летом. Совокупные ошибки в политических и экономических прогнозах столь чудовищны, что, когда я смотрю на их список, мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю. Удивителен не масштаб наших неверных прогнозов, а то, что мы о нем не подозреваем. Это особенно беспокоит, когда мы ввязываемся в смертельные конфликты: войны непредсказуемы по самой своей природе (а мы этого не знаем). Из-за такого непонимания причинно-следственных связей между провокацией и действием мы можем с легкостью спровоцировать своим агрессивным невежеством появление Черного лебедя — как ребенок, играющий с набором химических реактивов.

Наша неспособность к прогнозам в среде, кишасей Черными лебедями, вместе с общим непониманием такого положения вещей, означает, что некоторые профессионалы, считающие себя экспертами, на самом деле таковыми не являются. Если посмотреть на их послужной список, станет ясно, что они разбираются в своей области не лучше, чем человек с улицы, только гораздо лучше говорят об этом или — что еще опаснее — затуманивают нам мозги математическими моделями. Они также в большинстве своем носят галстук.

Поскольку Черные лебеди непредсказуемы, нам следует приспособиться к их существованию (вместо того чтобы наивно пытаться их предсказать). Мы можем добиться многого, если сосредоточимся на антизнании, то есть на том, чего мы не знаем. Помимо всего прочего, можно настроиться на ловлю счастливых Черных лебедей (тех, что дают положительный эффект), по возможности идя им навстречу. В неко-

торых областях — например в научных исследованиях или в венчурных инвестициях — ставить на неизвестное чрезвычайно выгодно, потому что, как правило, при проигрыше потери малы, а при выигрыше прибыль огромна. Мы увидим, что, вопреки утверждениям обществоведов, почти все важные открытия и технические изобретения не являлись результатом стратегического планирования — они были всего лишь Черными лебедями. Ученые и бизнесмены должны как можно меньше полагаться на планирование и как можно больше импровизировать, стараясь не упустить подвернувшийся шанс. Я не согласен с последователями Маркса и Адама Смита: свободный рынок работает потому, что он позволяет человеку “словить” удачу на пути азартных проб и ошибок, а не получить ее в награду за прилежание и мастерство. То есть мой вам совет: экспериментируйте по максимуму, стараясь поймать как можно больше Черных лебедей.

ОБУЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЮ

С другой стороны, нам мешает то, что мы слишком зацкливаемся на известном, мы склонны изучать подробности, а не картину в целом.

Какой урок люди извлекли из событий 11 сентября? Поняли ли они, что есть события, которые силой своей внутренней динамики выталкиваются за пределы предсказуемого? Нет. Осознали ли, что традиционное знание в корне ущербно? Нет. Чему же они научились? Они следуют жесткому правилу: держаться подальше от потенциальных мусульманских террористов и высоких зданий. Мне часто напоминают, что важно предпринимать какие-то практические шаги, а не “теоретизировать” о природе знания. История с линией Мажино хорошо иллюстрирует правильность нашей теории. После

Первой мировой войны французы построили стену укреплений вдоль линии немецкого фронта, чтобы предотвратить повторное вторжение; Гитлер без труда ее обогнул. Французы оказались слишком прилежными учениками истории. Заботясь о собственной безопасности, они перемудрили с конкретными мерами.

Обучение тому, что *мы не обучаемся тому, что мы не обучаемся*, не происходит само собой. Проблема — в структуре нашего сознания: мы не постигаем правила, мы постигаем факты, и только факты. Метаправила (например, правило, что мы склонны не постигать правил) усваиваются нами плохо. Мы презираем абстрактное, причем презираем страстно.

Почему? Здесь необходимо — поскольку это основная цель всей моей книги — перевернуть традиционную логику с ног на голову и продемонстрировать, насколько она неприменима к нашей нынешней, сложной и становящейся все более *рекурсивной** среде.

Но вот вопрос посерьезнее: для чего предназначены наши мозги? Такое ощущение, что нам выдали неверную инструкцию по эксплуатации. Наши мозги, похоже, созданы не для того, чтобы размышлять и анализировать. Если бы они были запрограммированы на это, нам в нашем веке пришлось бы не так тяжело. Вернее, мы к настоящему моменту все просто вымерли бы, а я уж точно сейчас ни о чем бы не

* Под *рекурсивностью* я здесь имею в виду, что в нашем мире возникает все больше реактивных пружин, становящихся причиной того, что события становятся причиной других событий (например, люди покупают книгу, *потому что* другие люди ее купили), вызывая эффект снежного кома и давая случайный и непредсказуемый результат, который дает победителю все. Мы живем в среде, где информация распространяется слишком быстро, увеличивая размах подобных эпидемий. По той же логике события могут случаться *потому, что* они не должны случиться. (Наша интуиция настроена на среду с более простыми причинно-следственными связями и медленной передачей информации.) Подобного рода случайности были редкостью в эпоху плейстоцена, поскольку устройство социально-экономической жизни отличалось примитивностью.

рассуждал: мой непрактичный, склонный к самоанализу, задумчивый предок был бы съеден львом, в то время как его недалекий, но с быстрой реакцией родич уносил ноги. Мыслительный процесс отнимает много времени и очень много энергии. Наши предки больше ста миллионов лет провели в бессознательном животном состоянии, а в тот кратчайший период, когда мы использовали свои мозги, мы занимали их столь несущественными вещами, что от этого почти не было проку. Опыт показывает, что мы думаем не так много, как нам кажется, — конечно, кроме тех случаев, когда мы именно об этом и задумываемся.

НОВЫЙ ВИД НЕБЛАГОДАРНОСТИ

Всегда грустно думать о людях, к которым история отнеслась несправедливо. Взять, например, “проклятых поэтов”, вроде Эдгара Аллана По или Артюра Рембо: при жизни общество их чуралось, а потом их превратили в иконы и стали насильно впихивать их стихи в несчастных школьников. (Есть даже школы, названные в честь двоечников.) К сожалению, признание пришло уже тогда, когда оно не дарит поэту ни радости, ни внимания дам. Но существуют герои, с которыми судьба обошлась еще более несправедливо, — это те несчастные, о героизме которых мы понятия не имеем, хотя они спасли нашу жизнь или предотвратили катастрофу. Они не оставили никаких следов, да и сами не знали, в чем их заслуга. Мы помним мучеников, погибших за какое-то знаменитое дело, но о тех, кто вел неизвестную нам борьбу, мы не знаем — чаще всего именно потому, что они добились успеха. Наша неблагодарность по отношению к “проклятым поэтам” — пустяк по сравнению с этой черной неблагодарностью. Она вызывает

у нашего незаметного героя чувство собственной никчемности. Я проиллюстрирую этот тезис мысленным экспериментом.

Представьте себе, что законодателю, обладающему смелостью, влиянием, интеллектом, даром предвидения и упорством, удастся провести закон, который вступает в силу и беспрекословно выполняется начиная с 10 сентября 2001 года; согласно закону, каждая пилотская кабина оборудуется надежно запирающейся пуленепробиваемой дверью (авиакомпания, которые и так едва сводят концы с концами, отчаянно сопротивлялись, но были побеждены). Закон вводится на тот случай, если террористы решат использовать самолеты для атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Я понимаю, что мое фантазерство — на грани бреда, но это всего лишь мысленный эксперимент (я также осознаю, что законодателей, обладающих смелостью, интеллектом, даром предвидения и упорством, скорее всего, не бывает; повторяю, эксперимент — мысленный). Закон непопулярен у служащих авиакомпаний, потому что он осложняет им жизнь. Но он безусловно предотвратил бы 11 сентября.

Человек, который ввел обязательные замки на дверях пилотских кабин, не удостоится бюста на городской площади и даже в его некрологе не напишут: “Джо Смит, предотвративший катастрофу 11 сентября, умер от цирроза печени”. Поскольку мера, по видимости, оказалась совершенно излишней, а деньги были потрачены немалые, избиратели, при бурной поддержке пилотов, пожалуй, еще сместят его с должности. *Vox clamantis in deserto**. Он уйдет в отставку, погрузится в депрессию, будет считать себя неудачником. Он умрет в полной уверенности, что в жизни не сделал ни-

* Глас вопиющего в пустыне (Ис. 40).

чего полезного. Я бы обязательно пошел на его похороны, но, читатель, я не могу его найти! А ведь признание может воздействовать так благотворно! Поверьте мне, даже тот, кто искренне уверяет, что его не волнует признание, что он отделяет труд от плодов труда, — даже он реагирует на похвалу выбросом серотонина. Видите, какая награда суждена нашему незаметному герою — его не побалуует даже собственная гормональная система.

Давайте еще раз вспомним о событиях 11 сентября. Когда дым рассеялся, чьи благие дела удостоились благодарности? Тех людей, которых вы видели по телевизору, — тех, кто совершал героические поступки, и тех, кто на ваших глазах пытался делать вид, будто совершает героические поступки. Ко второй категории относятся деятели вроде председателя нью-йоркской биржи Ричарда Грассо, который “спас биржу” и получил за свои заслуги колоссальный бонус (равный нескольким тысячам средних зарплат). Для этого ему только и потребовалось, что прозвонить перед телекамерами в колокол, возвещающий начало торгов (телевидение, как мы увидим, — это носитель несправедливости и одна из важнейших причин нашей слепоты ко всему, что касается Черных лебедей).

Кто получает награду — глава Центробанка, не допустивший рецессии, или тот, кто “исправляет” ошибки своего предшественника, оказавшись на его месте во время экономического подъема? Кого ставят выше — политика, сумевшего избежать войны, или того, кто ее начинает (и оказывается достаточно удачливым, чтобы выиграть)?

Это та же извращенная логика, которую мы уже наблюдали, обсуждая ценность неведомого. Все знают, что профилактике должно уделяться больше внимания, чем терапии, но мало кто благодарит за профилактику. Мы превозносим

тех, чьи имена попали на страницы учебников истории, — за счет тех, чьи достижения прошли мимо историков. Мы, люди, не просто крайне поверхностны (это еще можно было бы как-то исправить) — мы очень несправедливы.

ЖИЗНЬ ТАК НЕОБЫЧНА

Эта книга о неопределенности, то есть ее автор ставит *знак равенства* между неопределенностью и выходящим из ряда вон событием. Утверждение, что мы должны изучать редкие и экстремальные события, чтобы разобраться в обыденных, может показаться перебором, но я готов объяснить. Есть два возможных подхода к любым феноменам. Первый — исключить экстраординарное и сконцентрироваться на нормальном. Исследователь игнорирует аномалии и занимается обычными случаями. Второй подход — подумать о том, что для понимания феномена следует рассмотреть крайние случаи; особенно если они, подобно Черным лебедям, обладают огромным кумулятивным воздействием.

Мне не очень интересно “обычное”. Если вы хотите получить представление о темпераменте, моральных принципах и воспитанности своего друга, вы должны увидеть его в исключительных обстоятельствах, а не в розовом свете повседневности. Можете ли вы оценить опасность, которую представляет преступник, наблюдая его поведение в течение *обычного* дня? Можем ли мы понять, что такое здоровье, закрывая глаза на страшные болезни и эпидемии? Норма часто вообще не важна.

Почти все в общественной жизни вытекает из редких, но связанных между собой потрясений и скачков, а при этом почти все социологи занимаются исследованием “нормы”, осно-

вывая свои выводы на кривых нормального распределения*, которые мало о чем говорят. Почему? Потому что никакая кривая нормального распределения не отражает — не в состоянии отразить — значительных отклонений, но при этом вселяет в нас ложную уверенность в победе над неопределенностью. В этой книге она будет фигурировать под кличкой ВИО — Великий Интеллектуальный Обман.

ПЛАТОН И “БОТАНИКИ”

Главным толчком к восстанию иудеев в I веке нашей эры было требование римлян установить статую императора Калигулы в иерусалимском храме в обмен на установку статуи еврейского бога Яхве в римских храмах. Римляне не понимали, что иудеи (и более поздние левантинские монотеисты) понимают под *богом* нечто абстрактное, всеобъемлющее, не имеющее ничего общего с антропоморфным, слишком человеческим образом, который возникал в сознании у римлян, произносящих слово *deus*. Наиважнейший момент: еврейский бог не укладывался в рамки определенного символа. Вот так же и для меня то, на что принято навешивать ярлык “неизвестного”, “невероятного” или “неопределенного”, является чем-то принципиально иным. Это отнюдь не конкретная и точная категория знания, не освоенная “ботаниками” территория, а полная ее противоположность — отсутствие (и предельность) знания. Это антипод знания. Давайте отучимся употреблять термины, относящиеся к знанию, для описания полярного ему явления.

* Кривая нормального распределения, или “гауссова кривая”, лежащая в основе любой статистики, — это кривая колоколовидной формы, максимум которой приходится на среднюю величину. Строится на измерении средних значений и отклонений от них. (Прим. перев.)

Платонизмом — в честь философии (и личности) Платона — я называю нашу склонность принимать карту за местность, концентрироваться на ясных и четко очерченных “формах”, будь то предметы вроде треугольников или социальные понятия вроде утопий (обществ, построенных в соответствии с представлением о некоей “рациональности”) или даже национальностей. Когда подобные идеи и стройные построения отпечатываются в нашем сознании, они затмевают для нас менее элегантные предметы с более аморфной и более неопределенной структурой (к этой мысли я буду многократно возвращаться на протяжении всей книги).

Платонизм заставляет нас думать, что мы понимаем больше, чем на самом деле. Я, впрочем, не утверждаю, что Платоновых форм вообще не существует. Модели и конструкции — интеллектуальные карты реальности — не всегда неверны; они лишь не ко всему приложимы. Проблема в том, что а) вы не знаете заранее (только постфактум), к чему неприложима карта, и б) ошибки чреваты серьезными последствиями. Эти модели сродни лекарствам, которые вызывают редкие, но крайне тяжелые побочные эффекты.

Платоническая складка — это взрывоопасная грань, где платоновский образ мышления соприкасается с хаотичной реальностью и где разрыв между тем, что вам известно, и тем, что вам якобы известно, становится угрожающе явным. Именно там рождается Черный лебедь.

СКУЧНЫЕ МАТЕРИИ

Говорят, что, если на съемочной площадке у знаменитого кинорежиссера Лукино Висконти актеры что-то делали с закрытой шкатулкой, в которой по сюжету лежали брилли-

анты — там на самом деле лежали настоящие бриллианты. Это неплохой способ заставить актеров прочувствовать свою роль. Я думаю, что в основе причуды Висконти лежит его эстетическое чутье и стремление к подлинности — в конце концов, обманывать зрителя как-то нехорошо.

В этом эссе я развиваю одну основополагающую мысль; я не пережевываю и не переупаковываю чужие идеи. Жанр эссе предполагает импульсивную медитацию, а не научный отчет. Приношу извинения за отсутствие нескольких очевидных тем в этой книге; я исходил из убеждения, что материя, которая для автора слишком скучна, может оказаться скучной и для читателя. (Кроме того, избегая скучных тем, можно отфильтровать несущественное.)

РАЗГОВОРЫ В ПОЛЬЗУ БЕДНЫХ

Кто-нибудь, кого перекормили философией в университете (или, возможно, недокормили), может возразить, что встреча с Черным лебедем не опровергает теорию о *белизне всех лебедей*, поскольку такая черная птица формально не является лебедем, ведь, по его убеждению, белизна — одна из составных понятия “лебедь”. Действительно, читатели Витгенштейна* (и читатели статей о комментариях к Витгенштейну) склонны приписывать языку слишком большую роль. Лингвистические упражнения и впрямь очень нужны для упрочения репутации на философских факультетах, но мы, практики, принимающие решения в этом мире, оставляем их *на выходные*. В главе “Неопределенность шарлатанства” я объ-

* Витгенштейн Людвиг Йозеф Иоганн (1889–1951) — австро-английский философ, автор теории, решающей основные философские проблемы через призму отношения языка и мира. В его трудах они предстают как зеркальная пара: язык отражает мир, потому что логическая структура языка идентична онтологической структуре мира. (Прим. перев.)

ясняю, что при всей интеллектуальной привлекательности этих милых штучек, с понедельника по пятницу куда важнее для нас другие предметы (о которых часто забывают). Люди за кафедрами, которым не приходилось принимать решения в неопределенной ситуации, не отличают существенное от несущественного, и это относится даже к тем, кто изучает проблему неопределенности (и даже *в первую очередь* к ним). Практикой неопределенности я называю пиратство, биржевую спекуляцию, деятельность профессиональных игроков, работу в определенных подразделениях мафии и серийное предпринимательство. Таким образом, я не приемлю ни “пустопорожного скептицизма”, с которым мы не в состоянии бороться, ни теоретизирования вокруг языковых проблем, которые превратили значительную часть современной философии в нечто абсолютно бесполезное для тех, кого презрительно называют “широкими массами”. (Немногие философы и мыслители прошлого, хорошо это было или плохо, как правило, зависели от меценатов. Сегодня специалисты в области отвлеченных наук зависят от отношений внутри собственных сообществ, нередко превращающихся в патологически келейную ярмарку тщеславия. У старой системы было много недостатков, но она, по крайней мере, требовала от философов хоть какой-то привязки к реальности.)

Философ Эдна Ульман-Маргалит отметила непоследовательность в настоящей книге и попросила меня обосновать использование конкретной метафоры “Черный лебедь” в качестве символа того, что неизвестно, абстрактно и абсолютно неконкретно — белых воронов, розовых слонов или наших братьев по разуму на некой планете в системе звезды Тау Кита. Да, она поймала меня за руку. Здесь есть противоречие. В этой книге я выступаю как рассказчик; я предпочитаю строить повествование как череду историй и сценок для

иллюстрации нашей привычки в них верить и нашей любви к опасным упрощениям, которые таит в себе любой сюжет.

Чтобы опровергнуть одну историю, нужна другая история. Метафоры и истории (увы) гораздо сильнее идей; кроме того, они легче запоминаются и приятнее читаются. Если я собираюсь атаковать “нарративные дисциплины”, как я их называю, мое лучшее оружие — нарратив.

Идеи появляются и исчезают, истории остаются.

ОБОБЩЕНИЕ

Цель этой книги — не просто раскритиковать “гауссову кривую” и заблуждения статистики, а также платонизирующих ученых, которые просто не могут не обманывать себя всякими теориями. Я хочу “сконцентрироваться” на том, что имеет для нас реальное значение. Чтобы жить сегодня на нашей планете, нужно куда больше воображения, чем нам отпущено природой. Мы страдаем от недостатка воображения и подавляем его в других.

Прошу заметить, что в этой книге я не прибегаю к дурацкому методу подбора “подкрепляющих фактов”. По причинам, к которым мы обратимся в главе 5, я называю переизбыток примеров наивным эмпирицизмом: набор анекдотов, умело встроенный в рассказ, не является доказательством. Тот, кто ищет подтверждений, не замедлит найти их — в достаточном количестве, чтобы обмануть себя и, конечно, своих коллег*.

* Другой пример наивного эмпирицизма — подбирать для поддержки какой-либо идеи вереницу красноречивых цитат из мертвых классиков. Если поискать, вы всегда найдете кого-нибудь, кто умно высказался в поддержку вашей точки зрения — равно как всегда можно найти другого мертвого мыслителя, который сказал нечто прямо противоположное. Почти все используемые мной изречения, кроме изречений бейсболиста Йоги Берры, принадлежат людям, с которыми я не согласен.

Концепция Черного лебедя основана на структуре случайности в эмпирической реальности.

Обобщаю: в этом (глубоко личном) эссе я делаю наглое заявление, противоречащее многим нашим мыслительным привычкам. Оно заключается в том, что миром движет аномальное, неизвестное и маловероятное (маловероятное с нашей нынешней, непросвещенной точки зрения); а мы при этом проводим время в светских беседах, сосредоточившись на известном и повторяющемся. Таким образом, каждое экстремальное событие должно служить точкой отсчета, а не исключением, которое нужно поскорее запихнуть под ковер и забыть. Я иду еще дальше и (как это ни прискорбно) утверждаю, что, несмотря на прогресс и прирост информации — или, возможно, *из-за* прогресса и прироста информации, — будущие события все менее предсказуемы, а человеческая природа и обществоведческие “науки”, судя по всему, стараются скрыть от нас этот факт.

СТРУКТУРА КНИГИ

Эта книга построена в соответствии с простой логикой: чисто литературное (с точки зрения темы и способа изложения) начало, постепенно модифицируясь, приходит к строго научному (с точки зрения темы, но не способа изложения) финалу. О психологии речь пойдет в основном в первой части и в начале второй; к бизнесу и естествознанию мы перейдем во второй половине второй части и сосредоточимся на них в третьей. Первая часть — “Антибиблиотека Умберто Эко” — рассказывает в основном про то, как мы воспринимаем исторические и текущие события и какие искажения присущи нашему восприятию. Вторая часть — “Мы не можем предсказывать” — про наши ошибки в оценке будущего

и скрытых границах некоторых “наук” и про то, что можно сделать, чтобы эти границы преодолеть. Третья часть, “Серые лебеди Крайнестана”, глубже рассматривает экстремальные события, объясняет, как строится “гауссова кривая” (великий интеллектуальный обман), и рассматривает те идеи в естественных и социальных науках, которые объединяются под общим понятием “сложные системы”. Четвертая часть, “Конец”, будет очень короткой.

Я получил колоссальное удовольствие от работы над этой книгой — в сущности, слова складывались сами, мне оставалось только их записать. Я надеюсь, что читатель испытает сходные чувства. Должен признаться, что мне пришлось по душе уход в сферу чистых идей после активной жизни бизнесмена, связанной с массой ограничений. После публикации этой книги я намерен провести некоторое время вдали от бурной деятельности, чтобы развить свою философско-научную мысль в полной безмятежности.

ЧАСТЬ I

Антибиблиотека Умберто Эко, или О поиске подтверждений

Писатель Умберто Эко — один из тех немногих ученых, которых можно назвать широко образованными, проциательными и при этом нескучными. У него огромная личная библиотека (в ней тридцать тысяч книг), и, по его словам, приходящие к нему гости делятся на две категории — на тех, кто восклицает: “Ух ты! Синьор *профессоре дотторе* Эко, ну и книжищ у вас! И много ли из них вы прочитали?”, — и на тех (исключительно редких), кто понимает, что личная библиотека — не довесок к имиджу, а рабочий инструмент. Прочитанные книги куда менее важны, чем непрочитанные. Библиотека должна содержать столько *неведомого*, сколько позволяют вам в нее вместить ваши финансы, ипотечные

кредиты и нынешняя сложная ситуация на рынке недвижимости. С годами ваши знания и ваша библиотека будут расти, и уплотняющиеся ряды непрочитанных книг начнут смотреть на вас угрожающе. В действительности, чем шире ваш кругозор, тем больше у вас появляется полоч с непрочитанными книгами. Назовем это собрание непрочитанных книг *антибиблиотекой*.

Мы склонны воспринимать свои знания как личное имущество, которое нужно оберегать и защищать. Это побрякушка, позволяющая нам выделиться среди окружающих. Поэтому склонность фокусировать внимание на уже известном, столь обидная для Эко, — это общечеловеческая слабость, распространяющаяся на всю нашу умственную деятельность. Люди не размахивают своими антирезюме и не рассказывают вам про все, чего они не изучили и не опробовали (этим займутся конкуренты), но вообще-то это было бы нелишним. Стоило бы перевернуть с ног на голову логику знания так же, как мы перевернули библиотечную логику. Учтите, что Черный лебедь возникает из нашего непонимания вероятности сюрпризов, этих непрочитанных книг, потому что мы с излишней серьезностью относимся к тому, что знаем.

Давайте назовем такого антиученого — сосредоточенного главным образом на непрочитанных книгах и пытающегося видеть в своем знании не сокровище, не собственность и даже не средство самоутверждения — эмпириком-скептиком.

В этой части я буду говорить о нашем отношении к знанию и о том, что мы доверяем рассказу больше, чем опыту. Глава 1 посвящена Черному лебедю, порожденному историей моей собственной одержимости. В главе 3 я провожу черту между двумя видами случайности. Глава 4 ненадолго возвращается к истокам проблемы Черного лебедя — к нашей тенденции

обобщать то, что видим. Затем будут представлены три аспекта одной и той же “чернолебяжьей” проблемы: а) *ошибка подтверждения*, заключающаяся в нашем пренебрежении к нетронутой части библиотеки и исключительном внимании к тому, что подтверждает наше знание (глава 5); б) *искажение нарратива*, или излишняя вера в слово (глава 6); о том, как эмоции сказываются на наших выводах (глава 7), и в) *проблема скрытых свидетельств*, или уловки, предпринимаемые историей для сокрытия Черных лебедей (глава 8). В главе 9 развенчивается опаснейшая иллюзия, будто можно *учиться играя*.

ГЛАВА I.

Годы учения эмпирика-скептика

Анатомия Черного лебедя. — Триада затмения. — Как читать книги задом наперед. — Зеркало заднего вида. — Все объяснимо. — Всегда говорите с водителем (только осторожно). — История не ползет, а скачет. — “Это было так неожиданно”. — Спать двенадцать часов

Это не автобиография, поэтому я пропущу военные сцены. Вообще-то я пропустил бы военные сцены, даже если бы это была автобиография. Мне не переплюнуть ни боевики, ни мемуары знаменитых искателей приключений. Уж лучше я сосредоточусь на своей сфере — случае и неопределенности.

АНАТОМИЯ ЧЕРНОГО ЛЕБЕДЯ

На протяжении более тысячи лет на Восточном Средиземноморском побережье, известном как *Syria Lebanensis*, или Горы Ливанские, умудрялись уживаться не менее дюжины разных сект, народностей и вер — чудо, да и только. Это ме-

сто имело больше общего с главными городами Восточного Средиземноморья (называемого также Левантом), нежели с континентальным Ближним Востоком (плавать на корабле было легче, чем лазить по горам). Левантинские города были по природе своей торговыми. Между горожанами — в частности, представителями различных общин — существовали строго упорядоченные деловые отношения, для поддержания которых требовался мир. Это спокойное тысячелетие омрачалось лишь небольшими случайными трениями *внутри* мусульманских и христианских общин и крайне редко — между христианами и мусульманами. В противовес торговым и, по сути, эллинизированным городам, горы были заселены всевозможными религиозными меньшинствами, скрывавшимися, по их уверениям, от византийских и мусульманских ортодоксов. Гористая местность — идеальное убежище для тех, кто не приемлет общего устава; разве что у тебя появляется новый недруг — другой беженец, претендующий на тот же клочок скалистой недвижимости. Здешняя мозаика культур и религий, в которой перемешались христиане всех мастей (марониты, армяне, приверженцы сирийского православия, даже греко-католики вдобавок к горстке римских католиков, оставшихся после Крестовых походов), мусульмане (шииты и сунниты), друзья и немногочисленные иудеи, долго считалась примером того, как должны сосуществовать люди. То, что жители этого региона научились терпимости, уже воспринималось как аксиома. Я помню, в школе нам объясняли, насколько мы цивилизованнее и мудрее, чем обитатели Балкан, которые не только редко моются, но и беспрестанно грызутся между собой. Казалось, что мы находимся в состоянии стабильного равновесия, обусловленного историческим тяготением к прогрессу и терпимости. Слова “баланс” и “равновесие” звучали постоянно.

Мои предки и по материнской и по отцовской линии принадлежали к сирийско-православной общине — последнему форпосту Византии в Северной Сирии, которая включала в себя то, что сейчас называется Ливаном. Заметьте, что византийцы называли себя римлянами — *Roumi* (множественное число от *Roum*) в местной интерпретации. Мы приходим из района оливковых рощ у подножия ливанских гор. Мы вытеснили в горы христиан-маронитов в знаменитой битве при Амиуне (откуда и вышел наш род). Со времен вторжения арабов в VII веке мы жили с мусульманами во взаимовыгодном мире, лишь изредка тревожимые ливанскими горными маронитами. В результате некоего хитроумного договора между арабскими правителями и византийскими императорами мы ухитрились платить налоги обеим сторонам и пользоваться защитой и тех и других. Так нам удалось прожить спокойно и без больших кровопролитий почти тысячу лет: нашей последней серьезной проблемой были крестоносцы, а вовсе не арабы-мусульмане. Арабы, интересовавшиеся, похоже, только войной (и поэзией), а позже османские турки, помышлявшие, похоже, лишь о войне (и утехах), предоставляли нам заниматься скучной торговлей и совсем уж безобидной наукой (например, переводом арамейских и греческих текстов).

Страна под названием Ливан, в которой мы внезапно очутились после падения Османской империи в начале XX века, со всех точек зрения представлялась стабильным раем; кроме того, ее граница была проведена так, чтобы большинство населения составляли христиане. И тут люди вдруг загорелись идеей единого национального государства*. Христиане убедили себя, что они находятся у истоков и в центре

* Удивительно, как быстро и как эффективно можно соорудить национальность при помощи флага, нескольких речей и национального гимна; я по сей день избегаю бирки “ливанец”, предпочитая более обобщенное “левантинец”.

так называемой западной культуры, но при этом — с окном на Восток. Оставаясь в шаблонных рамках статичного мышления, никто не принимал во внимание разницу в уровне рождаемости внутри общин; считалось, что небольшое численное превосходство христиан сохранится навсегда. А ведь благодаря тому, что левантинцы в свое время получили римское гражданство, апостол Павел — сириец — получил возможность свободно путешествовать по всему миру. И теперь люди потянулись к вещам, к которым их неудержимо влекло; страна с изысканным стилем жизни, процветающей экономикой, умеренным климатом (как в Калифорнии), с вознесшимися над теплым морем снежными вершинами гостеприимно распахнула свои двери для всех. Туда устремились шпионы (и советские, и западные), проститутки (блондинки), писатели, поэты, наркодилеры, искатели приключений, игроки, теннисисты, горнолыжники, негодянты — словом, представители смежных профессий. Многие из них вели себя, как герои первых фильмов про Джеймса Бонда или современные им плейбои, которые пили, курили и походам в тренажерный зал предпочитали встречи с хорошими портными.

Главный атрибут рая — вежливые таксисты, — говорят, был налицо (хотя я не припомню, чтобы они вежливо обходились со мной). Впрочем, кому-то все прошлое видится в розовых тонах.

Я не вкусил радостей местной жизни, так как с ранних лет заделался идеалистом-бунтарем и воспитал в себе аскета, которого буквально корежило от кичливого богатства, от откровенной левантинской тяги к роскоши и от одержимости деньгами.

Когда я был подростком, мне не терпелось переехать в большой город, где джеймсы бонды не путаются под ногами. Но я помню: в интеллектуальной атмосфере было нечто особенное. Я посещал французский лицей, чей *бакалавриат* (атте-

стат зрелости) мог тягаться с лучшими из полученных во Франции, даже в отношении французского языка. Там преподавали чистейший французский: как в дореволюционной России, левантинские аристократы христианской и иудейской веры от Стамбула до Александрии говорили и писали на классическом французском — языке “избранных”. Особо привилегированных отправляли учиться во Францию, как, например, обоих моих дедушек: папиного отца и моего тезку — в 1912 году, и отца моей матери — в 1929-м. Две тысячи лет назад, повинаясь тому же инстинкту “самовыделения”, знатные левантинские снобы писали на греческом, а не на народном арамейском. (Новый Завет был написан на скверном подобию греческого, изобретенном нашей столичной, антиохийской, знатью и заставившем Ницше воскликнуть: “Бог очень дурно изъяснялся по-гречески!”) А после заката эллинизма они перешли на арабский. Так что наш край называли не только раем, но и уникальным перекрестком того, что весьма приблизительно величают восточной и западной культурами.

О ПОЛЬЗЕ ДЕЛА

Мой характер окончательно сформировался, когда меня, пятнадцатилетнего юнца, посадили в тюрьму за то, что во время студенческих волнений я (якобы) замахнулся на полицейского куском асфальта. Ситуация была специфическая, поскольку мой дед в тот момент занимал пост министра внутренних дел и именно он подписал приказ о подавлении нашего бунта. Одного из бунтовщиков застрелили, когда полицейскому угодил в голову камень и он в панике открыл беспорядочный огонь. Я помню, что был в числе заводил и прямо-таки возликовал, когда меня схватили, в то время как мои друзья

страшно боялись ареста и реакции своих родителей. Мы так сильно напугали правительство, что нас быстро отпустили.

Я явно выиграл, продемонстрировав свою способность биться за принцип, не отступая ни на шаг ради спокойствия или “удобства” других. Я впал в дикую ярость, и мне было плевать на то, что обо мне думают мои родители (и дед). Это заставило их опасаться *меня*, поэтому я уже не мог пойти на попятный и даже просто дрогнуть. Если бы я не объявил с вызовом о своем участии в волнениях, а умолчал о нем (как сделали многие мои друзья) и был бы потом выведен на чистую воду, то наверняка превратился бы в мальчика для битья. Одно дело — шокировать общество вызывающими прикидами и совсем другое — доказать свою готовность претворять убеждения в действия.

Моего дядю по отцу не слишком волновали мои политические взгляды (они приходят и уходят); его возмущало, что я использовал их как предлог для того, чтобы кое-как одеваться. Небрежно одетый родственник травмировал его чувства.

Объявив о своем аресте, я убил еще одного зайца: избавил себя от необходимости демонстрировать обычное подростковое бунтарство. Я сообразил, что гораздо выгоднее быть “разумным” пай-мальчиком после того, как ты уже доказал способность действовать, а не только болтать. Можно позволить себе образцовое поведение, если в нужном случае, когда этого меньше всего от тебя ожидают, ты явишься с обвинением в суд или избьешь врага — просто чтобы показать, что ты человек дела.

РАССТРЕЛЯННЫЙ “РАЙ”

Ливанский “рай” рухнул внезапно — хватило нескольких пуль и снарядов. Через несколько месяцев после моего краткого

заточения — и после почти тринадцати столетий уникального этнического сосуществования — Черный лебедь, взявший невесть откуда, превратил страну из рая в ад. Началась яростная гражданская война между христианами и мусульманами, к которым присоединились палестинские беженцы. Мясорубка была чудовищная, потому что бои велись в центре города, прямо в жилых кварталах (моя школа находилась в нескольких сотнях футов от театра военных действий). Конфликт продолжался больше полутора десятилетий. Я не буду его подробно описывать. Наверно, появление огнестрельного оружия и прочих мощных средств ведения войны превратило то, что в эпоху меча и шпаги ограничилось бы парой стычек, в спираль бесконтрольного вооруженного “око за око”.

Не ограничившись физическими разрушениями (последствия которых несложно было устранить при помощи предприимчивых подрядчиков, подкупленных политиков и наивных акционеров), война почти напрочь снесла тот флёр утонченности, благодаря которому левантинские города на протяжении трех тысячелетий оставались центрами интенсивной интеллектуальной жизни. Христиане покидали эти края с османских времен; те, что переехали на Запад, взяли себе западные имена и смешались с тамошним населением. Их исход ускорился. Число культурных людей сократилось, упав ниже определенного критического уровня. В стране образовался вакуум. Утечку мозгов трудно восполнить, и прежняя культура, возможно, утрачена навсегда.

Звездная ночь

Когда в следующий раз внезапно погаснет свет, утешьте себя, взглянув на небо. Вы его не узнаете. Во время войны в Бейруте часто отключали электричество. Пока люди не накупили

генераторов, один кусок неба — благодаря отсутствию подсветки по ночам — был удивительно ясен: кусок над частью города, которая дальше всего отстояла от зоны военных действий. Люди, лишённые телевидения, съезжались посмотреть на сполохи ночных боев. Складывалось впечатление, что риск попасть под ракетный удар пугает их меньше, чем перспектива скучного вечера.

Звезды были очень ясно видны. В школе нам объясняли, что планеты находятся в состоянии *эквилибриума* — равновесия, поэтому нам не следует беспокоиться, что звезды вдруг начнут падать нам на головы. Мне это напомнило рассказы об “уникальной исторической стабильности” Ливана. Сама идея принимаемого за аксиому равновесия казалась мне порочной. Я смотрел на созвездия и не знал, чему верить.

ИСТОРИЯ И ТРИАДА ЗАТМЕНИЯ

История непроницаема. Имея налицо результат, вы не видите того, что дает толчок ходу событий, — их генератора. Вашему восприятию истории органически присуща неполнота, потому что вам не дано заглянуть внутрь ящика, разобраться в работе механизма. То, что я называю генератором исторических событий, не просматривается в самих событиях — так же как в деяниях богов не угадываются их намерения. Как говорится, неисповедимы пути Господни.

Подобный разрыв существует между блюдами, которые приносят вам в ресторане, и тем, что творится на кухне. (Когда я в последний раз обедал в одном китайском ресторане на Канал-стрит в центре Манхэттена, я увидел, как из кухни выходит крыса.)

Человеческое сознание страдает от трех проблем, когда оно пытается охватить историю, и я называю их *Триадой затмения*. Вот они:

а) иллюзия понимания, или ложное убеждение людей в том, что они в курсе всего, происходящего в мире, — более сложном (или более случайном), чем им кажется;

б) ретроспективное искажение, или наше природное свойство оценивать события только по прошествии времени, словно они отражаются в зеркале заднего вида (в учебниках истории история предстает более понятной и упорядоченной, чем в эмпирической реальности);

в) склонность преувеличивать значимость факта, усугубляемая вредным влиянием ученых, особенно когда они создают категории, то есть *“латонизируют”*.

Никто не знает, что происходит

Первый элемент триады — это патология мышления, по милости которой наш мир представляется нам более понятным, более объяснимым и, следовательно, более предсказуемым, чем это есть на самом деле.

Взрослые постоянно твердили мне, что война, которая в результате продолжалась около семнадцати лет, закончится “в считанные дни”. Они были вполне уверены в этих своих прогнозах, что подтверждается количеством беженцев, которые “пережидали войну” в гостиницах и прочих временных пристанищах на Крите, в Греции, во Франции. Один мой дядя говорил мне тогда, что, когда богатые палестинцы бежали лет тридцать назад в Ливан, они рассматривали этот шаг как *исключительно временный* (большинство из тех, кто еще жив, по-прежнему там; прошло шестьдесят лет). Но на

мой вопрос, не растянется ли нынешний конфликт, он ответил: “Конечно нет. У нас здесь особое место; всегда было особым”. Почему-то то, что он видел в других, к нему словно бы не относилось.

Подобная слепота — распространенная болезнь среди беженцев среднего возраста. Позже, когда я решил излечиться от одержимости своими корнями (корни изгнанников слишком глубоко врастают в их “я”), я стал изучать эмигрантскую литературу именно для того, чтобы не попасть в капкан всепоглощающей и навязчивой ностальгии. Эмигранты, как правило, становятся пленниками собственных идилических воспоминаний — они сидят в компании других пленников прошлого и говорят о родине, вкушая традиционные блюда под звуки народной музыки. Они постоянно проигрывают в уме альтернативные сценарии, которые могли бы предотвратить их историческую трагедию — например: “если бы шах не назначил ту бездарь премьер-министром, мы и сейчас были бы дома”. Словно исторический перелом имел конкретную причину и катастрофу можно было бы предотвратить, ликвидировав *ту* конкретную причину. Я с пристрастием допрашивал каждого вынужденного переселенца, с которым меня сводила жизнь. Почти все ведут себя одинаково.

Мы все слышаны о кубинских беженцах, прибывших в Майами в 1960 году “на несколько дней” после воцарения режима Кастро и до сих пор “сидящих на чемоданах”. И об осевших в Париже и Лондоне иранцах, которые бежали из Исламской республики в 1978-м, думая, что отправляются в короткий отпуск. Некоторые — четверть столетия спустя — все еще ждут момента, когда можно будет вернуться. Многие русские, покинувшие страну в 1917-м, например писатель Владимир Набоков, селились в Берлине, чтобы обратный путь

не был чересчур уж далеким. Сам Набоков всю жизнь провел в съемных квартирах и номерах — сначала убогих, потом роскошных — и закончил свои дни в отеле “Монтре-Палас” на берегу Женевского озера.

Конечно, все беженцы ослеплены надеждой, но важную роль играет тут и проблема знания. Динамика ливанского конфликта была абсолютно непредсказуема, однако люди, пытавшиеся осмыслить ситуацию, думали практически одинаково: почти всем, кого волновало происходящее, казалось, что они прекрасно понимают, в чем суть дела. Каждый божий день случались неожиданности, опровергавшие их прогнозы, но никто не замечал, что они не были предсказаны. Многие события казались бы полным безумием в свете прошлого опыта. Но они уже не воспринимались как безумие *после того*, как происходили. Такая ретроспективная оправданность приводит к обесцениванию исключительных событий. Позже я сталкивался с той же иллюзией понимания в бизнесе.

ИСТОРИЯ НЕ ПОЛЗЕТ, А СКАЧЕТ

Проигрывая впоследствии в памяти события военных лет и формулируя свои идеи о восприятии случайных событий, я пришел к заключению, что наш разум — превосходная объяснительная машина, которая способна найти смысл почти в чем угодно, истолковать любой феномен, но совершенно не в состоянии принять мысль о непредсказуемости. Тому, что тогда творилось, не было объяснения, но умные люди верили, что могут все убедительно объяснить — *постфактум*. Вдобавок, чем умнее человек, тем лучше звучит его объяснение. Еще печальнее то, что все эти мнения и комментарии не страдали отсутствием логики и нестыковками.

Я покинул край, называемый Ливаном, еще подростком, но поскольку там осталось множество моих родственников и друзей, я часто туда возвращался, особенно во время военных действий. Война не была перманентной: случались периоды мира, каждый раз заключавшегося “навечно”. В тяжелые времена я в большей степени ощущал свои корни и старался почаще возвращаться, чтобы поддержать оставшихся, которые тяжело переживали каждый отъезд — и завидовали тем неверным друзьям, которые обрели экономическую и личную безопасность на чужбине и прилетали домой только в дни перемирий. Я не мог ни работать, ни читать вдали от Ливана, когда там гибли люди, но, едва оказавшись в Ливане, я удивительным образом отключался от реальности и предавался своим умствованиям, не испытывая никакого чувства вины. Интересно, что ливанцы бурно развлекались во время войны и их тяга к роскоши только усилилась.

Тут возникает несколько непростых вопросов. Как можно было предсказать, что народ, который казался образцом терпимости, в мгновение ока превратится в толпу варваров? Почему перемена оказалась столь резкой? Поначалу я думал, что ливанскую войну, в отличие от других конфликтов, и в самом деле невозможно было предсказать и что в левантинцах слишком много всего намешано, чтобы можно было разобрататься в их мотивах. Потом, попытавшись вникнуть в суть всех великих исторических событий, я стал постепенно понимать, что подобная причудливость — не местная особенность моих соплеменников.

Левант был чем-то вроде массового производителя “судьбоносных” событий, которых никто не предвидел. Кто предсказал стремительный охват христианством всего средиземноморского бассейна, а позже — всего западного мира? Тогдашние римские хронисты вообще не обратили внима-

ния на новую религию — историки христианства недоумевают, почему почти не осталось свидетельств современников. Мало кто из солидных людей принял еврея-еретика настолько всерьез, чтобы посчитать, что его идеи останутся в вечности. У нас есть единственное свидетельство того времени об Иисусе из Назарета — в “Иудейской войне” Иосифа Флавия, — да и то оно, возможно, вставлено позднейшим благочестивым переписчиком. А как насчет религии-соперницы, которая родилась семь столетий спустя? Кто предсказал, что скопище лихих конников за считанные годы раскинет свою империю и внедрит закон ислама от Индостана до Испании? Распространение ислама было еще более неожиданным, чем взлет христианства; многие историки сочли необъяснимой быстроту совершившихся тогда перемен. Жорж Дюби, например, изумлялся тому, как десять столетий левантинского эллинизма были уничтожены “одним ударом меча”. Позже профессор той же кафедры истории в Коллеж де Франс, Поль Вейн, остроумно заявил, что религии расходились по миру, “как бестселлеры”, подчеркнув этим сравнением непредсказуемость процесса. Подобные сбои в плавном течении событий не облегчают историкам жизнь: доскональное изучение прошлого мало что говорит нам о смысле Истории — оно лишь предлагает нам иллюзию понимания.

История и общества продвигаются вперед не ползком, а скачками. Между переломами в них почти ничего не происходит. И все же мы (и историки) предпочитаем верить в предсказуемые, мелкие, постепенные изменения.

Я вдруг осознал — и с этим ощущением живу с тех пор, — что мы с вами не что иное, как превосходная машина для ретроспекций, и что люди — великие мастера самообмана. С каждым годом моя уверенность в этом растет.

ДОРОГОЙ ДНЕВНИК: ОБРАТНОЕ ТЕЧЕНИЕ ИСТОРИИ

События предстают перед нами в искаженном виде. Задумайтесь над природой информации. Из миллионов, а может, даже триллионов мелких фактов, которые приводят к какому-либо событию, лишь считанные определяют впоследствии ваш взгляд на происшедшее. Поскольку ваши воспоминания ограничены и отфильтрованы, у вас в памяти застрянут только те данные, которые впоследствии свяжутся с фактами, если только вы не похожи на героя борхесовского рассказа “Фунес, чудо памяти”, который не забывает ничего и обречен жить под бременем накопленной и необработанной информации. (Долгая жизнь ему не суждена.)

Вот как я впервые столкнулся с ретроспективным искажением. В детстве я был страстным, хотя и неразборчивым читателем; первый этап войны я провел в подвале, глотая одну за одной самые разные книги. Школа закрылась, снаряды падали градом. В подвалах чудовищно скучно. Поначалу я больше всего беспокоился о том, как справиться со скукой и что бы еще почитать*, — хотя читать только потому, что больше просто делать нечего, далеко не так приятно, как читать, когда к этому расположен. Я хотел стать философом (я и сейчас этого хочу), поэтому решил для начала под завязку накачать себя чужими идеями. Обстоятельства побуждали меня к изучению теоретических и общих работ о природе войн и конфликтов; я пытался проникнуть в нутро Истории, понять механизм той гигантской машины, которая генерирует события.

Как ни странно, книгу, которая на меня сильно повлияла, написал не какой-нибудь там мыслитель, а журналист. Это

* Бенуа Мандельброт, испытавший нечто подобное в том же возрасте — правда, лет за сорок до меня, — вспоминает свое военное прошлое как долгие и мучительные периоды скуки, прерываемые краткими вспышками невыразимого страха.

был “Берлинский дневник. Записки иностранного корреспондента, 1934–1941” Уильяма Ширера. Ширер был радио-корреспондентом, автором нашедшей книги “Взлет и падение Третьего рейха”. “Записки” поразили меня необычным взглядом на вещи. К тому времени я уже читал труды (или о трудах) Гегеля, Маркса, Тойнби, Арона и Фихте о философии истории и ее свойствах; мне казалось, что я худо-бедно представляю себе, что такое диалектика. Понял я немного — разве что то, что у истории есть некоторая логика и что развитие идет через отрицание (или противопоставление) так, что человечество постепенно идет ко все более высоким формам общественного развития — что-то в этом роде. Это все ужасно напоминало разглагольствования о ливанской войне. Когда мне задают дурацкий вопрос, какие книги “сформировали мое мышление”, я до сих пор удивляю людей, говоря, что эта книга (нечаянно) научила меня главному из того, что я знаю о философии и теоретической истории — и, как мы увидим в дальнейшем, о науке тоже, поскольку я уяснил себе разницу между прямым и обратным процессом.

Как? Очень просто: дневник описывал события *в их течи*, а не задним числом. Я торчал в подвале, и история оглушительно гроыхала над моей головой (артобстрел не давал мне спать по ночам). Я, подросток, ходил на похороны одноклассников. История не в теории проезжалась по моей шкуре, и читал я про человека, который явно переживал историю, находясь в ее гуще. Я пытался представить себе картину будущего и понимал, что она неясна. И еще я понимал, что, если когда-нибудь захочу написать о событиях тех дней, они предстанут более... *историческими*. Между *до* и *после* лежала пропасть.

Ширер сознательно писал свой дневник, еще не зная, что произойдет потом, — когда информация, доступная ему, не

была искажена последствиями. Некоторые комментарии были весьма познавательными, особенно те, что иллюстрировали уверенность французов в недолговечности власти Гитлера, — отсюда их неподготовленность и скорая капитуляция. Никто не догадывался о масштабах грядущей катастрофы.

Память у нас крайне нестойкая, но дневник фиксирует реальные факты, которые заносятся на бумагу по более или менее свежим следам. Он позволяет зафиксировать непосредственное впечатление и позже изучить события в их собственном контексте. Повторю, что важнее всего — сознательно выбранный способ описания события. Не исключено, что Ширер и его редакторы могли и схитрить, потому что книга была опубликована в 1941 году, а издатели, как мне говорили, имеют обыкновение приспособлять тексты к вкусам массового читателя, вместо того чтобы точно воспроизводить мысли автора, свободные от ретроспективных искажений. (В сущности, редакторская правка может очень сильно исказить картину, особенно когда автору достается так называемый “хороший редактор”.) Тем не менее знакомство с книгой Ширера дало мне интуитивное понимание механизмов истории. Ведь накануне Второй мировой войны в воздухе, казалось бы, должно было висеть предчувствие грандиозной катастрофы. И ничего подобного!*

* Историк Найалл Фергюсон продемонстрировал, что, несмотря на стандартные рассказы о постепенном “назревании” Первой мировой войны, включавшем “рост напряжения” и “эскалацию кризиса”, конфликт оказался неожиданностью. Только ретроспективно историки, окидывающие события широким взглядом, сочли его неизбежным. Чтобы подтвердить свою мысль, Фергюсон использовал хитроумный эмпирический аргумент: он изучил цены на государственные облигации, которые обычно отражают ощущения вкладчиков касательно финансовых затруднений государства и падают в преддверии конфликтов, поскольку войны создают резкий дефицит. Но цены на облигации не дают повода предполагать, что вкладчики опасались войны. Обратите внимание, что это исследование, помимо прочего, показывает, как изучение динамики цен помогает лучше понять историю.

Дневник Ширера оказался тренингом по динамике неопределенности. Я хотел стать философом, не представляя себе, чем зарабатывают на жизнь современные философы. Поэтому я пустился в авантюру (вернее, в авантурные эксперименты с неопределенностью) и принялся штудировать математику и другие науки.

ОБРАЗОВАНИЕ В ТАКСИ

Третий элемент триады — проклятие обучения — я представляю следующим образом. Я внимательно наблюдал за своим дедом, который занимал посты министра обороны, потом министра внутренних дел и в начале войны, перед закатом своей политической карьеры, вице-премьера. Несмотря на свое положение, он не больше знал о том, что произойдет, чем его водитель Михаил. Однако, в отличие от деда, Михаил все свои прогнозы сводил к словам: “Одному Богу известно”, признавая тем самым, что *понимание* — прерогатива высшей инстанции.

По моим наблюдениям, очень умные и образованные люди строили прогнозы ничуть не лучше таксистов, но с одной принципиальной разницей. Таксисты не воображали, будто понимают столько же, сколько интеллигенты, и на роль экспертов не претендовали. Никто ничего не знал, но специалистам мнилось, будто они знают больше других, поскольку само собой разумеется, что специалист всегда образованнее неспециалиста.

Дело не только в знании; информация тоже может быть сомнительным преимуществом. Я заметил, что почти все были в курсе мельчайших подробностей происходящего. Газеты до такой степени дублировали друг друга, что чем больше ты читал, тем меньше получал информации. Но люди

так боялись упустить какой-нибудь новый факт, что прочитывали каждый свежий номер, слушали каждую радиостанцию, словно ожидая великого откровения от очередной сводки новостей. Они превратились в ходячие энциклопедии, напичканные сведениями о том, кто с кем встречался и что один политик сказал другому (и даже с каким выражением: “Не кажется ли вам, что он несколько сбавил тон?”). И все без толку.

БЛОКИ

Во время ливанской войны я также заметил, что журналисты имеют тенденцию группироваться, причем не столько вокруг одинаковых мнений, сколько вокруг одинаковых методик анализа. Они придают значение одним и тем же наборам обстоятельств и подразделяют реальность на одинаковые категории (опять проявление платонизма, потребности разложить все по полочкам). Эту умственную заразу усугубило то, что Роберт Фиск называет “гостиничной журналистикой”. Если в прежней журналистике Ливан был частью Леванта, то есть Восточного Средиземноморья, то теперь он внезапно стал частью Ближнего Востока, как будто кто-то умудрился перенести его поближе к пескам Саудовской Аравии. Остров Кипр, расположенный примерно в шестидесяти милях от моей деревни на севере Ливана, с почти идентичной кухней, верой и обычаями, внезапно сделался частью Европы (конечно, местные жители с обеих сторон подверглись соответствующей психологической обработке). Прежде черта проводилась между Средиземноморьем и не-Средиземноморьем (то есть между оливковым и сливочным маслом), а в 1970-е годы она вдруг разделила мир на Европу и не-Европу. Поскольку границу между ними обозначил ислам, никто не знал, куда отнести арабов христи-

анского (и иудейского) вероисповедания. Категоризация необходима людям, но она оборачивается бедой, когда в категории начинают видеть нечто окончательное, исключающее зыбкость границ — не говоря уже о пересмотре самих категорий. И всему виной была заразность заболевания. Если бы вы нашли сотню независимо мыслящих журналистов, способных оценивать ситуацию самостоятельно, вы бы получили сотню разных мнений. Но, поскольку в своих донесениях репортеры вынуждены были идти “ноздря в ноздю”, диапазон мнений сильно сужался — все начинали мыслить в унисон.

Если вы хотите понять мою мысль об условности категорий, взгляните на ситуацию с поляризованной политикой. В следующий раз, когда прилетят марсиане, попробуйте объяснить им, почему сторонники уничтожения плода в материнской утробе вместе с тем являются противниками смертной казни. Или почему принято считать, что защитники абортов выступают за повышение налогов, но против сильной армии. Почему поборники сексуальной свободы обязательно должны быть врагами индивидуальной экономической свободы?

Я обратил внимание на абсурдность таких связей-блоков еще в юности. По иронии судьбы, в той гражданской войне в Ливане христиане оказались сторонниками свободного рынка и капитализма (то есть теми, кого журналисты называют “правыми”) — а исламисты превратились в социалистов и получали поддержку от коммунистических режимов (“Правда”, орган коммунистической партии, называла их “борцами за свободу”, хотя позже, когда русские вторглись в Афганистан, уже американцы искали контактов с Бен Ладеном и его мусульманскими братьями).

Лучший способ доказать случайный и эпидемиологический характер этой категоризации — вспомнить, как часто

перестраивались такие блоки. Сегодняшний альянс между христианскими фундаменталистами и израильским лобби, безусловно, поставил бы в тупик интеллектуала XIX столетия: христиане были антисемитами, а мусульмане — защитниками евреев, которых они предпочитали христианам. Либертарианцы когда-то считались левыми. Мне, как “сюрпризведу”, интересно то, что некое случайное событие заставляет одну группу, изначально стоящую на определенной позиции, вступить в альянс с другой группой, занимающей другую позицию, смешивая и объединяя тем самым две позиции... до неожиданного разрыва.

Категоризация всегда упрощает реальность. Это работа генератора Черных лебедей — неодолимого платонизма, которому я дал определение в Прологе. Любое сужение окружающего нас мира может привести к взрывоопасным последствиям, потому что оно исключает из картины некоторые источники неопределенности и принуждает нас неверно интерпретировать ткань, из которой соткан мир. Например, вы можете считать, что радикальный ислам (и исламские ценности) — ваш союзник в борьбе с коммунистической угрозой, и помогать ему развиваться, пока исламисты не пошлют два самолета на деловой центр Манхэттена.

Через несколько лет после начала ливанской войны меня, двадцатидвухлетнего учащегося Уортонской школы экономики, посетила мысль об “эффективных рынках” — мысль, заключавшаяся в том, что невозможно извлекать прибыль из находящихся в обращении ценных бумаг, поскольку это инструменты, автоматически инкорпорирующие всю доступную информацию. Доступная публике информация совершенно бесполезна, особенно для бизнесмена, поскольку цены, как правило, уже “включают” всю подобную информацию; то, что известно миллионам, не дает вам реального преимуще-